

Даже по вечерам телевизор он редко смотрел, больные глаза жалея. Зато приемник на волне «Детского радио» весь день не смолкал. После недавней смерти жены одному, в полной тишине, особенно вечерней, жить было тоскливо, непривычно. Вот радио и помогало, «детское».

Когда отдыхал, слушал его внимательно. А в основном кое-как, в домашней суете и делах.

Теперь был вечер — время покоя, отдыха для старого человека. И время обычного вечернего звонка от сына, который к себе домой, с работы возвращался поздно. И всегда звонил.

По радио что-то пели, не больно разборчивое. А потом прорезался детский голосок:

Помню, как жили мы с мамой родною

Всегда в веселе и в тепле.

Но вот наше счастье распалось на части.

Война наступила в стране...

Голосок был тоненький, точь-в-точь внучкин, Маняшин. Но какой-то серьезный, грустный. Может, потому что про войну стишок. Но чего бы она там соображала...

Нынче был год особый: годовщина Победы. Вот и говорили, писали везде про войну и Победу. Даже здесь, на «Детском радио».

Смолк детский голос. А стихок в памяти остался. На удивление. Теперь ведь шаг шагнешь и забудешь, куда шел и зачем. Возраст. А здесь с ходу запомнил. Голосишко у девочки такой славный, словно Маняшин.

Но дело, может, и не в Маняше, а в тех словах, что услышал. Для детворы — это просто стишок. Сказали им, они выучили, прочитали. Вот тебе и «наступила война». А ведь все это было. На этой земле — сталинградской, почти век назад, когда он был совсем маленьким, как нынешняя его детвора — внуки.

Это было давным-давно. Целая жизнь прошла. Долгая. Тогда — малый мальчонка. Теперь — старый, хворый, седой, одним словом — Дед. Так его величали в семье и в кругу ближнем, знакомом. Он сам себе прилепил это имя ли, звание, вроде пустой отговоркой: «Какой с меня спрос? Я — дед. Старый дед. Понятно?»

Дед значит Дед. В раннем утреннем и позднем вечернем звонках спрашивал сын: «Дед? Ты там живой?..» И внуки, естественно: «Дедушка... Деда...» А еще — круг рыбаков и охотников — старых друзей, но теперь уже их сыновей привычный зов: «Ты на охоту готовишься, Дед? Не забыл? А как без тебя?!» Это были не пустые слова, но верная примета: с Дедом всегда везет на добычу. Глаза и силы у него не те, что прежде. Но чутье и память остались: меляки, зимовальные ямы, невидимые глазу донные свалы, жировки, ходы, лазы, повадки зверя ли, рыбы, — все знает и помнит. На то он и Дед. Старый, седой. Но память осталась.

Вот и сегодня: стишок услышал и сразу запомнил, повторив его раз и другой. Хороший стишок. Все в нем — правда.

«Помню, как жили мы... в веселе и в тепле». «С мамой родною» в малом поселке Лазурь, на окраине Сталинграда, близ Мамаева бугра, в его надежном укрыеве от ветров.

Малые домики, зеленые огороды, сады. Тихие улочки, добрые соседи, гурьба веселой детворы. Одних Лутошкиных — шестеро; все, как один, рыжие, озорные. Шурочка Лутошкина и сейчас в памяти: она была его «невестой».

Поселок Лазурь. Свой домик. Дойная коза Манька. Мохнатая собака Трезор. Палисадник с цветами. Сладкие яблоки на деревьях. «Яндыковские» они назывались. Зеленый дворик. Просторный купол синего неба.

Война далеко. Порой высоко в небе кружил маленький самолетик, из него сыпались белые листовки. Ветер уносил их. От поселка вдали, в центре города иногда недолго гудели сирены, объявляя воздушную тревогу. К ним привыкли.

А потом вдруг, неожиданно-негаданно, пришла беда. Среди белого дня, словно черная туча — немецкие самолеты. Их было много-много. Они наплывали с тяжелым гулом от Мамаева бугра, закрывая солнце и небо. Встречая их, по всему городу истошно выли сирены, надрывались гудки заводские и пароходные, волжские. Мать потащила мальчика в погреб. Там темно. Мальчишке хотелось поглядеть на самолеты. Все ближе их гул. И началось страшное. Дьявольский вой и свист. Грохот взрывов, трясенья земли. Снова и снова. Вой и грохот. Совсем рядом. Земля содрогается. С низкой крыши песок сыплется. Разрывающий уши вой. Оглушающий грохот. Трещит ненадежная кровля. Снова и снова вой. Обморочное ожидание грохота ли, забвенья. Молитва матери:

Живый в помощи Вышняго,
В крове Бога Небесного...

Телефонный звонок пришел из мира иного, нынешнего, и потому не сразу был услышан и понят. Звонил сын, как обычно, с работы вернувшись.

— Дед? Ты — живой там? Заснул? Какие новости?

— Какие у меня новости... — со вздохом ответил Дед, не вдруг возвращаясь ко дню сегодняшнему. — Живой в помощи, — и засмеялся, вспомнив. — Даже стишок выучил. Да... По радио услышал. Вот послушай: «Помню, как жили мы с мамой родною...»

Он прочитал весь стишок и добавил:

— Девочка выступала. Голосок — чисто Маняшин. Наверное, из детсада. Учат их там. А вот вы не хотите, чтобы в детсад ходили. Чего боитесь...

Сын засмеялся.

— Поп — свое, черт — свое. Завтра приходи и учи.

— И научу! — задиристо ответил Дед. Но тут же осадил себя. — Детвора-то спит?

— Спит...

— Вот и ты, сынок, ужинай и ложись отдыхай, — проговорил он мягко и попрощался. — До завтра.

Он не хотел донимать сына, жалея его. Позади у того долгий день нелегкой работы. Наговорился, наслушался всякого. Пусть отдыхает. Завтра с утра можно и поругать его за то, что себя и детей не жалеет. Уходит — они еще спят, приходит — уже спят. Разве это хорошо? Но об этом лучше завтра, с утра.

А день нынешний, слава Богу, прошел. Поздний вечер звал человека старого к покою и отдыху.

За окном, на улице не больно шумной, изредка пробегали машины, высокий шестой этаж не особо тревожа. Желтые фонари невеликого сквера скупо брезжили, освещая пустые дорожки, подножья деревьев, но оставляя во тьме их просторные кроны в черных живых гроздьях ночующего там воронья.

За огнями фонарными густела, спеша к полуночи, глухая ночь волжского берегового откоса, потом — обрыва. Дальше — темная синева просторной реки.

Ночная Волга — тиха и покойна, прикрытая мгlistым беззвездным небом.

Тогда — век назад — тоже была ночь. Но не было тьмы. Из края в край вставало над землей багровое зарево огромного пылающего города. Горело людское жильё, горели заводы, горел волжский берег, его пристани, порт, баржи, железнодорожные грузовые составы, вагоны. Цистерны, хранилища нефтебаз вспыхивали, взрывались. Потоки горячей нефти стекали по крутым откосам. Горела вода.

Большой пароход, битком набитый людьми, огромным факелом пылал посреди реки.

Это было давно, почти век назад. Но помнилось и порой поднималось до яви и осязаемой горечи, боли. Как нынче, когда за окном лишь ночная тьма, жидкий свет фонарей, высокие тополя, их просторные кроны — приют воронья. Порою вечерней птицы летят и летят на ночевье огромными стаями, крыло в крыло, словно черная туча. Он их и теперь не любил. А после войны еще долго пугался вороньих стай, к маме бежал прятаться. Потому что не мог забыть день первый, когда крыло в крыло, закрывая желтое солнце и просторную синеву неба, медленно наплывала на

город огромная, из края в край, самолетная стая. Слово черные птицы с когтистыми лапами и белыми крестами на крыльях, они приближались с тяжким, натужным, угрожающим гулом на город, на поселок Лазурь, на теплую августовскую людскую жизнь...

Помню, как жили мы с мамой родною
Всегда в веселе и в тепле...

Так было: долгое теплое лето, веселая шумливая детвора с утра до ночи табунилась на улице. К объявлениям воздушной тревоги уже привыкли, не боялись их, потому что стрельбы да бомбежки не было. Лишь прилетали порой маленькие самолетики с листовками. Чего их бояться?

В день августа двадцать третий все было по-другому: натужный гул самолетной армады, пропавшее солнце, черное небо в крестах, сумерки прежде срока, внезапный горячий ветер. Зашумели в саду деревья, гулко роняя плоды. Дворовый пес Трезор, повизгивая, забился в земляную нору, рядом с конурой. Жалобно блеяла в сарае запертая коза Манька. Люди прятались в земляных щелях, подвалах да погребках.

В погребе было темно. Самолетный гул слышимо приближался. Потом завывли самолетные сирены. Все ближе и громче. И вот уже — грохот, трясенья земли. Дьявольский вой и свист. Снова грохот и грохот. Совсем рядом. Земля ходуном ходит. Уши закладывает, и дыханье сдавливается грохот взрывов и непрерывный вой самолетов, входящих в пике для новой и новой бомбежки.

Тесный погреб, тьма его, содрогание стен, молитва матери:

Живый в помощи Вышняго
В крове Бога небесного водворится...

Приказ сыну:

— Повторяй за мной: «Заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него...»

«...И уповаю на него», — повторял мальчик, испуганный, оглушенный, все тесней прижимаясь к матери — единственной защите.

Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящая...

Большая, похоже, что стокилограммовая, бомба уже с воем летела к земле. Господь отвел: она ударила рядом с погребом. Но разом обрезалось все: теплое материнское тело, молитва, темный погреб.

В крове Бога Небесного водворится...

Мальчик лежал на земле живой, но голый, будто снова рожденный. Лишь ленточки туго застегнутых обшлагов, на запястьях да воротнике, на шее, — знак былой одежды, напрочь сорванной взрывной волной. Он лежал полумертвый, сжавшись в комочек, и тихонько скулил.

Вокруг все так же грохотало, горела земля. Нарастал, до боли врезаясь в голову, прямо в мозг, пронзительный вой сирены пикирующего бомбардировщика. Земля от ударов вздрагивала, ощутимо колыбалась и, казалось, вот-вот должна была вовсе разверзнуться, принимая и хороня в себе все живое и мертвое без разбору. Теперь уже навсегда.

Дворовый пес Трезор, услышав детский скулеж, пересилил страх и выбрался из норы. Отыскав мальчика, он прикрыл его, прижимаясь своим теплым, мохнатым телом и тоже поскуливая от смертного страха. Так они и лежали в летней ночи, в красных отсветах полыхающих факела-

ми окрестных домов, сараев, в багровом высоком зареве горящего города, раз за разом содрогаясь вместе с землей от бомбовых взрывов, которым не было конца и которые, казалось, искали их, подступая все ближе и ближе.

Все это было. Давным-давно, целый век назад. Было, но иным быльем поросло. И лишь порою, как нынче, случайно, вдруг поднималось и виделось так ясно, что начинало сердце щемить от жалости и боли. Страха не было, а боль — настоящая. И жалость настоящая: к мальчонке, к маме, к Трезору, к Лутошкиным...

Вот и нынче: этот стишок: «Помню, как жили мы с мамой родною...» Стишок задел, царапнул. Пошло вспоминаться одно горше другого. И даже ночной сон — не спасенье: рваный и зыбкий, словно то самое забытье в багровом зареве. Его оборвал лишь утренний телефонный звонок, не сразу услышанный. И потому спросил его сын:

— Ты там живой, Дед? Долго спишь! Не болеешь?

Утренние разговоры отца с сыном были длиннее вечерних.

— Вроде живой. А про болезни доктора знают. Собираюсь кровь сдавать. Анализы. На той неделе надо к врачу, на проверку. Вот он все и скажет: живой я или нет.

— Понятно. К нам сегодня приедешь? — спросил сын.

— Не знаю. Ни Ольга, ни сватья пока не звонили. Скажут, значит, приеду. Нет — значит, весь день буду на даче. С водопроводом замучился. Экскаватор траншею прокопал. Но ее надо зачистить. А к дому и вовсе, копать да ломом проход пробивать.

Сын лишь вздохнул. Дела у отца дачные, нескончаемые. Только-только разделался с газом, котлом, системой отопления, которой лишь мышей греть. Зимой на дачу не ездили. С газом разделался. Теперь — водопровод. А ведь вода на участке своя: скважина, насос. Чего еще надо? Но что-то отцу доказывать бесполезно. Тем более у старика довод веский: «Я же вас не заставляю. Я — сам». А этот «сам» — с немалыми годами, тяжелой хворью, чередой операций. И глаза видят все хуже.

Но все тот же азарт: «Вам ничего не надо, а детворе пригодится. Спасибо скажут. Вспомнят деда...»

Сын усмехнулся и словно увидел отца там, у телефона: худое легкое тело, шапка седых, вечно нестриженных волос, костистые руки с плоскими цепкими пальцами. Увидел. Жалея, вздохнул. А через минуту смеялся над новой затеей старика, которую тот, оказывается, не забыл.

— Ты насчет Плесистово узнал? Я же просил тебя. Ты обещал...

Сын рассмеялся:

— Дед, ты когда угомонишься? Тебе уже, по-хорошему, и дачу-то надо бросать. А ты...

— Я брошу! Я продам эту дачу, если на Плесистовом взять землю удастся! Ты пойми... — горячо убеждал он сына. — Полгектара подворье! Рядом — вода, лес...

— Тебе земли мало?

— Мало! Шесть соток разве земля? Гулькин нос!

— А ты у своего врача спроси, нужна ли тебе земля, чтобы гнуться, копаться и сколько тебе земли надо?

— Я знаю. Мне лично: два с половиной метра на полтора. Не больше. Я не о себе, я о детворе думаю! Какая для них радость: простор, большой сад, лужайка зеленая, вода, лес... Маняша купаться любит.

— Все, все понял... Ко мне уже люди пришли. Я вроде весь день буду

на месте, если не выдернут. До вечера... Будь здоров. А Ольга тебе позвонит. Теще куда-то надо с обеда уйти. Подменишь. Пока, Дед.

— Пока, пока... — недовольно пробурчал Дед, опуская трубку, и вслух, уже для себя, дополнил. — Как о деле говорить, сразу — виль хвостом.

Была у него слабая, но все же надежда, что сын поможет получить этот завидный кусок земли на заброшенном Плесистовом хуторе. Он туда ездил и уже примеривал, как можно там развернуться: сад, виноградник, огород, даже бахча с арбузами, дынями... Для житья на первый случай вагончик себе какой-нибудь поставить. И пойдет дело.

И ведь, если захочет сын, то сможет договориться. Все же немалый начальник. А там — лишь кусок земли брошенной. Такая малость... А он не хочет. Да еще и смеется...

Горевать Деду долго не пришлось. Позвонила сноха. И сразу определился день: с обеда — к детворе; значит, полдня свободен и можно кое-что сделать, если не рассиживаться. Тем более, дача недалеко, на окраине, и ныне уже, как говорят, в «черте города», потому и газ провели, а теперь — воду. Это удобно. Но мало земли. В советское время ее выделяли, скупаясь — шесть соток. Не более. Оттого и мечты были об ином: хутор Плесистов, полгектара, озеро, лес.

Но мечты — мечтами, а дела — на даче нынешней.

Пора стояла осенняя. Летняя жара позади. Но огород просил полива. Спели помидоры, поздней посадки огурцы цвели и завязывались, баклажаны, кустовые кабачки, столовая пахучая зелень — всего вроде понемногу, а поливать надо. Но главная сегодняшняя забота — траншея.

Роторный канавокопатель прошел вдоль участков, оставляя хозяевам работу ручную: зачистка для укладки трубы, а главное — вход в дом: короткий отвод траншеи, но теперь уже вручную. Лопата, кирка, тяжелый лом и — вперед. Как говорят, с песней: «Эх, дубинушка!» Но прежде — широкий кожаный ремень на поясницу, туго затянутый. Нутро беречь. Болезнь давно нажитая.

Беречься, беречься... Сын остерегает: «Надо беречься...» Врачи поют хором: «Не наклоняться... Не больше двух килограмм... Не напрягаться...» А вот кто будет делать, об этом молчат.

Он начал с самого трудного: короткая траншея к дому. Лопатой, а больше ломом да киркою, с замахом и кряканьем. Земля — твердая, сухая. Бил и бил, без остановки и отдыха, потому что времени — в обрез. С обеда — к детворе, куда опаздывать нельзя. Да он и не хотел опаздывать, потому что в его теперь уже одинокой жизни малая детвора — внуки — были, пожалуй, единственной отрадой, теплым светом, который грел стариковские зябкие сумерки. Хотя колгота с ними уже не по возрасту. А без нее — никак. Войдешь, разгрузишь дачные приношенья: одно — в холодильник, другое — сразу на стол.

Низенький столик, белые подносы и блюда, на которых так приманчиво светят желто-медовые сливы; они и вкусом — мед. Поздние клубника да малина — алой пахучей горкой, тяжелые кисти винограда, груши да яблоки. У столика, помогая деду, хлопочет маленькая хозяйка Маня: раскладывает да расставляет, а потом любуется и выдыхает: «Кр-расота!» Разборчивый внук Миша клюет помаленьку того и другого: ему виноград подавай только бескосточковый. «Киш-миш» — специально для Миши», — смеялся Дед, но, потакая внуку, посадил и вырастил два куста. А внучка все без разбору метет.

Пока детвора угощается, Дед меряет давление, таблетку глотает. Кирка да лом — инструмент явно не по возрасту. Лекарство приняв, он устраивается передохнуть на диване и, вспомнив разговор утренний с сыном, начинает внушать:

— В детсад не ходите, ничего не знаете. А там учат стихи. Скоро будет юбилей Сталинградской битвы. По радио девочка выступала: «Помню, как жили мы...» Это вроде про меня стихи. Ваш дед, считай, участник войны. Да, да... Мать всегда говорила, что я — трижды рожденный. Первый раз — как все. А потом меня Бог спасал. Бомбы в меня немцы бросали. И попадали. Понимаете? Бомбы. Первый раз, совсем чудо — даже рубашку сорвало... А второй раз живьем схоронило. Еле спасли, откопали. Вы слушаете меня или нет? Слушайте, пока дед живой. Запоминайте. Давайте стишок выучим: «Помню, как жили мы с мамой родною...» И надо бы вам молитву выучить. «Живые помощи». Потому что эта молитва всегда спасает. Точно вам говорю.

— Живый в помощи Вышняго... — громко произнес Дед...

— Живый в помощи!.. — истошно кричала мать, царапая руками, разгребая землю засыпанной взрывом «щели», в которой ненадолго оставила сына возле полотна железной дороги; сама же к разбитым вагоном поползла, чего-нибудь съедобного сыскать: зерно ли, паточку. Начался обстрел. Снаряд за снарядом. Рядом с окопом два взрыва разом. Волна земли — и «щели» нет.

— Живый в помощи!.. — по-дикому выла мать, выгребая желтые куски глины окровавленными руками. — Живый в помощи...

Ее услышали. Откопали мальчонку. Живого...

— Да, да... — внушал внукам дед. — Эта молитва всем помогала. Иначе меня бы не было. И вас — тоже.

Детвора речам дедовым внимала вполуха, занятая сладкой трапезой: сочные груши, медовые сливы, виноград. Уже липкий сок — от уха до уха: на щеках, с подбородка течет, на одежду капает. Особенно Маня старалась. Недаром она и росла пухленькой, не то что худорба Миша.

— Ох, детвора, поаккуратней. Перемажетесь, меня ругать будут, — укорял внуков Дед негромко, уже задремывая.

Но подремать ему не дали.

— Прятки! Играем в прятки! — отходя от столика, скомандовал внук.

— Пятки! — повторила за ним Маняша.

— Со служебным котом! — уточнил Миша.

— С котом! — подтвердила внучка.

Отдыху пришел конец.

— А может, я вам чего-нибудь почитаю? Стишок выучим. Молитву «Живые помощи». У вас память хорошая, — попробовал сопротивляться Дед. — Папе потом расскажете, маме...

— Прятки!

— Пятки!

Он сам был виноват, когда-то устроив из игры целое представление с котом Тришкой и монологами. «Куда же они спрятались?.. Никак не найдешь их. Тришка, ты — кот ученый, помоги, не ленись...»

Детвора понравилось. Пришлось повторять снова и снова эти «прятки-пятки». Так было и нынче.

— Раз-два-три-четыре-пять... Начинаю вас искать. Я считаю до пяти, не могу до десяти. Тришка рвется вас искать! Раз — два — три — четыре — пять! Он идет уже по следу, помогать решил он деду! Толстый

кот — оборкот, жирное создание. Ищи Мишу, ищи Маню — вот твое задание!

Кот, в обычной жизни сонный, ленивый, послушно ходил с Дедом по комнатам и порою действительно находил детвору, останавливаясь у шкафов ли, вешалок с одеждой, куда они прятались.

Останавливался, хвостом вертел, на Деда поглядывал, только что сказать не мог: «Здесь!»

— Молодец, Триша! Нашел, вынюхал по следу.

— Это нечестно, нечестно! — кричал внук. — Дед подглядывал! И Тришка подглядывал! Снова до тридцати считай!

Хочешь не хочешь, а приходилось играть. Как на детвору сердиться...

Прятки да прятки...

— Раз-два-три-четыре-пять... И где же они спрятались? Может, на балконе? Нюхай, Триша, ленивое создание, нюхай, ищи... А то вместо «Вискаса» черной корочкой тебя будем кормить, с горчицей и перцем. Понятно?

Детское хихиканье слышалось из потаенных углов. Этим игра и нравилась детворе. У Деда язык уставал.

Но потом, вместо отдыха, прятки сменялись еще одной, тоже дедовой придумкой.

— Турсун! — вспоминал внук. — Малый, а потом большой.

— Туйсун, туйсун... — трогательно просила Маняша.

При этой забаве детвора старалась укрыться за диваном ли, креслами, под столом, а дед их оттуда тащил за руки, за ноги, поперек живота. Он, конечно, осторожничал, а детвора вырывалась и отбивалась всерьез. Главным в «турсуне» был захват детских рук ли, ног для раскачивания или кружения, высокого полета, чуть не до потолка. «Большой турсун» это называлось. Конечно же, с беготней, шумом, криком, счастливым визгом.

Про «турсун» знали соседи снизу, порой жалуясь, что у них люстры качаются и звенят. За потолок опасались.

Дед перед ними извинялся, объясняя: «Детвора...»

Это у сватьи-бабушки получалось по-иному: книжки, телевизор. А у деда — «пятки» да «турсун», большой и малый. После прятков у него горло першило от речей непривычно длинных; «турсун» — это ушибы да снзяки, потому что внук не больно осторожничал, и сил у него прибавлялось, и пятки — что копыта. А старому человеку много ли надо: ушибы долго болят и сердце колотится от немалого напряжения. Но как детворе откажешь?..

— Дедушка, еще последний разочек!

— Последний-распоследний...

— Туйсун... Яспоследний... Позалуйста, деда... — просила Маняша, просили глаза ее, чистые, светлые.

— Хорошо, милые. Последний турсун... А потом будем стишок учить?

— Будем! — хором в ответ.

Но до стишка да иного спокойного времяпрепровождения дело опять не дошло.

Дождавшись сватью и с детворой распрощавшись, к своему дому Дед добирался пешком, по набережной. Путь лежал недалекий, над Волгой. Порою он отдыхал на скамейке. Не от ходьбы, а от недавнего «турсуна», который давался ему все труднее. Он отдыхал, вспоминал детвору, себя корил.

У сваты как-то все получалось: книжки, телевизор, другие забавы — тихие. А у него — как всегда. Сегодня хотел с ними стишок выучить, про войну рассказать, про себя, маленького: как их бомбили, как выживали в погребах да норах, холодные и голодные, под самым Мамаевым курганом, теперь уже всему миру известном. Тогда был просто Мамаев бугор, а возле — малые поселки: Тир, Лазурь, Тещино... Там и немцы, и наши днем и ночью бомбили, стреляли. Маму контузило, ранило. Его самого дважды Бог спасал. Людей много погибло. Соседей Лутошкиных в первый же день всех — разом, шестерых: мама Люба и детвора... И «невеста» его Шуручка — рыженькая лисичка. Калимановых — трое, Васины, Дегтяревы... Про все это хотел детворе рассказать. Им ведь надо знать.

Ровесники Деда, какие Сталинградскую битву прошли, они по школам ходили, по детским садам, рассказывая о пережитом. Их слушали, цветы им дарили. Дед чужим рассказывать ничего не хотел. Отнекивался: «Не помню».

Он помнил. Он на всю жизнь запомнил. Но не хотел... Перед чужими людьми. Это ведь было так непонятно для тогдашнего, малого еще мальчонки. Непонятно и страшно. Как и теперь, на старости лет, после долгой жизни.

Первая ночь... Как он лежал на земле, оглушенный и голый, в отсветах желтого и багрового пламени горящего дома, сарая, деревьев, соседских дворов и домов.

В сатанинском вое сирен пикирующих на него «Юнкерсов», за стайей — новая стая. За взрывом — взрыв. На земле и в небе. Все ближе и ближе. Дьявольский вой до боли врезался в голову, в мозг. Грохот взрывов раздирает уши, нутро. Осколки летят, комья земли. Пальцы невольно скребут сухую глину, ища укрыва. Непрестанный вой, за грохотом — грохот. Сотрясение земли. Треск и жар близкого пламени. Багровая ночь. Теплое тело Трезора, кровью истекающего. И уже — ни боли, ни страха, ни теченья времени. Застывшее в полумертвом оцепенении хрупкое детское тельце.

Мать нашла их: собаку, уже бездыханную, и сына — в чужой крови, но живого.

А город горел. Под градом бомб зажигательных всю ночь факелами вспыхивали, сгорая дотла, деревянные дома и другие строения широко разбросанных заводских поселков, пригородов, слобод: от Акатовки, Латошинки, Селезнева до Балкан, Дар-горы, Бекетовки, Елшанки. Тяжелые фугазы долбили и долбили заводские корпуса «Тракторного», «Баррикад», «Красного Октября», центральные улицы города, обращая их в каменные руины и братские могилы, в дыму, пыли, тяжелом негаснущем пламени. А следом сыпались «зажигалки», ящиками, россыпью. Чтобы огонь и огонь...

На многие километры недавно живого города небесный огонь и земной сомкнулись в геенну огненную, которая с каждым часом росла, жарко дышала, взрываясь языкатыми факелами, вихрями, снопами искр, пылающих головешек. Огневые потоки текли по земле; огневые тучи клубились в напрочь сгоревшем черном небе.

Бомбежка прервалась на рассвете. Но солнце в этот день не взошло. На смену страшной багровой ночи пришла иная тьма. Низко над землей висела пелена густого черного дыма. Это горел город: дома, улицы, деревья, земля. Это горела прежняя людская жизнь, оставляя лишь память: «помню, как жили мы... в веселе и в тепле...» Возле Мамаева бугра в су-

меречном утре уже не было поселка Лазурь, его улочек, домов, сараев, заборов, палисадов с цветами, садов, пышных огородов. Лишь черная обугленная земля дымилась в глухой немоте, безлюдной и страшной.

«От стрелы летящая ... от вещи во тьме приходящая... падет от страны твоей тысяща и тма одесную тебе... к тебе же не приблизится».

Молитва ли, судьба помогла — он остался жить возле раненой и контуженой матери, которая, словно живучая кошка в недолгом затишье, чуя новые беды, потащила его, как думалось ей, к спасенью; к Банному оврагу, который выходил к Волге, к переправам на тот берег.

Это было здесь, где он теперь, век спустя, сидел на скамейке — старый седой Дед. Рядом, под крутым береговым откосом, лежала просторная гладь воды, пустынная в нынешние времена: ни теплоходов, ни барж. Лишь лодка моторная порой прогудит возле берега да редко-редко проплывет, словно пава, тяжелая, в нарядном раскрасе самоходка «нефтянка».

Тогда, в августе сорок второго, эта просторная Волга — от берега к берегу, из края в край — была словно кипящий котел. Паромы, баржи, белые речные «трамвайчики», катера, плоты из бревен везли в горящий город подмогу: солдат, технику, боеприпасы. А вокруг и рядом вздымались высокие всплески, фонтаны брызг, гейзеры от падающих в воду бомб и снарядов. В небе — кружево, кутерьма самолетов: наших и немецких, с ревом ныряющих в пике для точной бомбежки или на бреющем, низко над водой, для пушечной, пулеметной стрельбы.

Жирная копоть горящей нефти, зыбкие стены дымовых завес вокруг паромов с техникой, шашки шрапнельных, осколочных разрывов. Военные катера, канонерки, стреляющие по самолетам. Горящие, тонущие суда, лодки, плоты, люди, люди... В дыму и пламени.

А рядом — горящий город. Там снова и снова — налет. Плывут по небу немецкие армады. Одна за другой. Подплывают. И с ревом — вниз, отправляя к земле бомбовый груз. Клубы дыма и пыли, всплески бушующего пламени. Огонь и дым, огонь и смерть всему, что ни есть живому. И мертвому — тоже огонь, для истребления в прах.

Соваться на переправу днем было страшно. Ждали ночи.

В глубоком Банном овраге, в пещерах и норах его, прятались женщины, старики, детвора, пережидая день, чтобы ночью переправиться на ту сторону Волги, от неминуемой смерти убегая.

Это было давно, век назад. А теперь — тихая теплая осень, синяя речная вода, в небе — белые чайки.

Рядом — музей обороны Сталинграда. Высокий купол панорамы, просторные залы с оружием, снарядами, бомбами — остатками войны. На воле — клумбы с цветами, голубые ели, березы с еще зеленым листом и две нарядные яблоньки-«китайки», усыпанные алыми плодами, мелкими, но приглядными, приманчивыми для детворы. А еще — как и положено музею военному — танки: КВ, ИС, Т-34, два самолета и целый ряд артиллерии: зенитки, противотанковые пушки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки. Большинство — наши, но есть и немецкие, с крестами.

Возле танков и орудий всегда много детворы: разглядывают, трогают, лезут на башни да лафеты, даже на стволы забираются. Детвора не страшит молчаливое железо, чужое и наше. Для детворы это просто большие игрушки. Живые танки да пушки бывают лишь на экранах телевизоров, планшетов, компьютеров. Но там — тоже игра или кино. Бояться нечего. Даже в пору вечернюю.

Век назад ночная переправа на Волге оказалась страшнее дневной. Горел город, горящая нефть стекала по берегам и плыла по течению. Немецкие ярко-белые световые бомбы-«лампы» висели над водой, раздвигая багровые сумерки, помогая летчикам найти цель.

По всему берегу кипел людской муравейник: раненые, женщины с детьми, старики. Крик и плач. На баржи, на катера да баркасы, на пароходы в первую очередь грузили раненых: на носилках ли, своим ли ходом. А уж потом остальные: кому повезет, кто сумеет пробраться, протиснуться по трапам, по дощатым настилам, в людской сумятице, толчее. И все это в самолетном гуле и вое, в близких разрывах снарядов и бомб, шрапнельных, фугасных, в пулеметных очередях.

Для матери и мальчика это была вторая ночь ожидания, тщетных попыток попасть на какую-нибудь баржу ли, баркас, катер, хотя бы лодку, плот, и переправиться через Волгу, убегая от войны и смерти.

Большой двухпалубный пароход обещал принять всех и грузился долго. Сначала — раненые бойцы, потом хлынули остальные, толпой. По трапам, по сходням, по доскам, напрямую через борта, забивая до отказа палубы, трюмы.

Мать с мальчиком были уже на трапе, карабкаясь, в тесноте таких же бедолаг.

Два шага оставалось до желанного заветного борта. Мать слезно просила: «С дитем, Христа ради... Дитя пустите... Он — тоже раненый, — причитала она, проталкивая сына вперед: — Возьмите сыночка, его одного». Только о нем она думала: «Пусть спасется».

Но пароход внезапно загудел и стал отходить от причала, роняя в темную воду трапы, сходни, настилы, людей.

Горел город. Горели пристани. Гудели самолеты. Там и здесь раздавались бомбовые взрывы. Медленно опускаясь, светили ракеты, помогая немецким летчикам найти цель: катера, баржи, баркасы, плоты самодельные с людьми и людьми.

Из воды выбирались трудно, с захлебом и плачем. На берегу кое-как отжимали одежду. Мать плакала, теперь уже не сдерживаясь:

— Господи, чего ж мы такие невезучие... Думала, хоть тебя пропихнуть. А уж сама...

Она причитала, растирая озябшего, онемевшего сына. А потом вдруг смолкла. Уже вдали от берега двухпалубный пароход вдруг загорелся, дважды взрываясь от прямых попаданий бомб. Он горел ярким факелом, от кормы до носа. А немецкие самолеты снова и снова бомбили его.

Мать глядела и плакала, прижимая к себе сына, словно не веря, что он рядом, живой. Потом она сказала: «Лучше на земле помрем, у себя».

Той же ночью через Банный овраг они вернулись к себе, на Лазурь. И провели там полгода, в погребных ямах, земляных щелях возле сожженных домов. Сначала была осень. Но скоро, прежде срока, пришла зима, необычно холодная, жестокая к своим и чужим. Тем более что выживать пришлось под обстрелами и бомбежкой на пожарище да руинах, в земляной щели, которую мать выкопала на своем дворе; натаскала туда какого-то тряпья, кирпичи да железный лист, сверху — печурка, чтобы согреть воду и даже лепешки испечь из остатков муки, заботясь о сыне, который первые дни был словно не в себе.

В земляной тьме он лежал, скорчившись, словно неживой, с закрытыми глазами. Он не спал, но все время хотел заснуть, чтобы потом побыстрее проснуться не здесь, в подвале, а в прежней, настоящей жизни,

оставив позади, в страшном сне, весь этот непонятный, неприложимый к детскому разуму ужас. Порой он на короткое время задремывал и, очнувшись, открывал глаза. Но не было света, солнца и прежней жизни. Все та же подземная тьма, стылость, звуки обстрелов, бомбежки, содроганье земли. А значит, нужно было постараться заснуть крепко-крепко, долго спать, чтобы потом вернуться в прежнюю жизнь, как это раньше иногда бывало после детских, порою страшных снов.

Он засыпал, просыпался, чуял тьму подземелья. И наверху было все то же.

Мать поила его теплой водичкой, пыталась кормить, читала молитву:

Яко Той избавит тя от сети ловчи
и от словеса мятежна,
Плещма своими осенит тя,
и под криле Его надеешься...

Два ли, три дня мальчик ничего не ел, не говорил, лежал, погруженный в небытие ли, в напрасное ожиданье. Лишь потом он кое-как оклемался, сознавая простое: этот страшный сон будет долгим. И это вовсе не сон, а новая жизнь под названием война.

Впереди у него и впрямь были долгие дни, ночи, месяцы жизни посреди войны, в самом пекле ее. Сталинградская битва... Совсем рядом Мамаев курган, днем и ночью в дыму и огне. Там — вечный бой, стрельба и бомбежка. Позади — глубокий Банный овраг, с его пещерами, норами, с выходом к Волге, к переправам. Немцы без передыху его утужат: артиллерия, самолеты.

А между Мамаевым и Банным — «нейтралка»: черная, огнем спаленная, изрытая воронками пустая земля бывших поселков Лазурь да Тир. Там — неприметная щель земли, в которой еще теплится жизнь.

Порой сюда наша разведка приходит, удивляется: «Вы — живые?» Иногда по ночам — даже бойцы с минометами, они стреляют. В ответ начинается немецкий обстрел, бомбежка. Порой разведчики говорят: «Уходите. Сегодня ночью здесь будет большая заваруха». И тогда в сумерках мать с сыном уходят, пробираясь не к Волге, а ближе к Мамаеву кургану, к железной дороге, где раньше был поселок Тир, а теперь руины. Но там — люди, там подвал, где можно укрыться.

Уходят. Но потом возвращаются к прежней, налаженной жизни. Своя земляная щель. Там — тряпье, там — печурка, там — вода и крохи еды, которые добывает мать: горелая пшеница из разбитых вагонов, картошка с огородов. Ботву выжгло, а картошку можно найти. Пока не ударил мороз. Редкие куски хлеба ли, сухари. Мать их выпрашивает в Банном овраге у наших бойцов. Или ищет у мертвых солдат, которых много вокруг.

К мертвым привыкли не сразу. Кровь, месиво разорванных одежд и тел. Скрюченные пальцы. Глаза порою открытые, глядят.

Привыкли со временем. А вначале получилось страшное, когда мальчик вышел на волю из-под земли в первый раз и увидел вокруг одну лишь черную землю, изрытую воронками. Поселок Лазурь не было. Не было домов, сараев, зеленых садов, огородов. Лишь черные пепелища родного дома, соседского, Лутошкиных. И там же — огромная глубокая воронка от бомбы. И рыжие волосы, пряди, полусасыпанные, смешанные с землей.

Он узнал их и закрычал:

— Давай откопаем! Мама! Давай вытащим! Давай их вытащим! Ма-мочка!

Мать с трудом его увела. Он кричал и кричал: «Давай их вытащим!»

Он и сейчас это помнил: черная горелая земля, глубокая воронка от бомбы, на откосе ее — пряди рыжих волос, смешанных с землей. Это были Лутошкины. Они все там остались вместе и навсегда...

Век прошел. А вспомнить горько: Шурочку, маму ее, бабушку Клаву, Ваську, Павлика, Толика, Олю и совсем малую Любушку, ей дали мамино имя, на малый срок.

Вот почему он отказывался в школы ходить, что-то рассказывать людям чужим, тем более детям. Разве поймут? Разве это можно понять? Не увидев, не пережив. Лишь мать его понимала. А еще жена, которая тоже была сталинградкой, с Дар-горы. В первый же день бомбежки Дар-гору с ее деревянными домами, сараями, скотиной, людьми немцы сожгли зажигательными бомбами. Дотла все сгорело. Пятеро было в семье жены, а остались они вдвоем с бабушкой.

Потом их немцы гнали всех, кто остался живой: стариков, детвору, женщин. Под автоматами, с собаками, колоннами, сначала на Калач, степью, потом через Дон, на Чир, на Белую Калитву. Голодных, оборванных, по грязи, а потом по снегу. Больных да отставших добивали в упор.

Жена все помнила. Потому и умерла прежде срока. Как об этом забыть? Но и рассказать не получится. Словами не передашь.

— Сидишь? Дремлешь? — окликнул Деда незаметно подошедший знакомец. — А твои внуки уже танк завели! Угонят. Отвечать будешь именно ты, караульщик.

Смеялись вместе. Старый товарищ, сосед по дому, сторожил у музея своих внуков, которые, зенитное орудие оседлав, вели нешуточный бой.

— Та-та-та-та! — стреляли они.

— Мои внуки дома сидят, — оправдался Дед.

— А мои ревом-ревут: пойдем к пушкам.

— Детвора... — вздохнул Дед.

— Пускай лучше здесь, чем в компьютере эти стрелялки. Тут воля, свежим воздухом дышат. Ветерок, Волга, душа радуется...

— Конечно, — согласился Дед. — Осень теплая. Гуляй да гуляй.

Просторная река в еще летнем, зеленом укрыве берегов светло синела, отражая такую же чистую синеву высокого неба. Осень пока лишь подступала, осторожно желта маковки тополевых крон. У дальнего берега, на речной синеве, отчетливо белели песчаные косы, пустые, безлюдные, при остывлой воде. Синий речной простор, смыкаясь с небесным, завораживал, навевая раздумья светлые, в помощь которым звенели рядом детские голоса.

Старики на скамейке усидели недолго. Детвора чего-то не поделила возле зенитки: крик да плач. Один дед поспешил своим внукам на помощь. Другой к дому подался, неспешно проходя мимо детской толчеи, обычной особенно по утрам да вечерам в этом сквере, в округе единственном. Тут — песочница, «детский городок» с лестницами да «считалками», а главное — простор дорожек и площадок в стороне от машин. Коляски, малые велосипеды, мячи, игрушки, зелень кустов и деревьев, цветы. Для детвора — радость.

В квартире, недолго подумав, Дед позвонил своим. Ответила сватья.

— Погода хорошая, — сказал он. — Я шел по набережной, столько

там ребятни. У музея и рядом. Может, и нашу детвору выведешь. Пусть провеются.

— А они спят, — ответила сватья. — Вдвоем, на диване, как кутята. Наверно, их дед умаял, — засмеялась она.

— Кто кого умаял, — покряхтел Дед. — Но спят — это хорошо. Спят — это на здоровье.

Закончив разговор, он и сам прилег на диван, включив приемник на обычной волне «Детского радио». Там что-то пели: голосистый мальчонка старался, дружный хор ему помогал.

Дед слушал, подремывая, закрыв глаза. А виделась ему своя детвора, которая теперь на диване спит. Правда, что «как кутята», вповал, согревая друг дружку. Малые, милые... Сон детвору вовсе красит. Губенки распусят, что твои лепестки: нежные, розовые. На лицах — светлый покой.

Дед подремывал, а потом заснул. Но, видно, не в пору. Потому что снилось ему нехорошее: словно темные тучи наплывали, грозя бедой, а еще — вороний грай, карканье — тоже накликанье беды. И какой-то неясный тяжелый гул — танковый ли, самолетный. Тяжко было и страшно. Не за себя страшно, за детвору, которой — чуял он! — что-то грозит. За свою детвору и за всех других, возле которых нынче сидел на скамейке, а потом шел через веселую толчею: беготню, возню в песочнице.

Но теперь, в тяжком сне ли, мороке, мешалось нынешнее и давно минувшее, о котором нынче весь день вспоминал. Подступал осязаемый страх. Все эти пушки: наши, немецкие, все эти танки, возле которых играли дети... Что-то в них было тревожное: будто оживало мертвое железо, грозя бедой. Самолеты... Слава Богу, немецких там нет: «юнкерсов», «хейнкелей», которые бомбят и бомбят. Но гул, но этот тревожный, тяжелый гул, который все ближе, он все страшной, а дети не понимают. Ведь и он тогда, в темном подвале, тоже не понимал. Мать сразу поняла и молилась: «Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небесного...» Мать спасла его. Теперь он должен спасти: «Живый в помощи Вышняго... Заступник наш...»

Дед проснулся в страхе и холодном поту, с молитвою на устах и продолжил ее уже в яви, вслух, громко, потому что хотел быть услышанным:

Яко Той избавит я от сети ловчи...

Плецма своима осенит я и под криле Его возмет.

Ты, Господи, упование мое! —

взывал он громко:

И прославлю Его, долгой дней

Исполню Его и явлю Ему спасение мое!

Сам того не подозревая, он, оказывается, помнил эту молитву до последней строки, до последнего слова, пронеся ее через жизнь, прошедшую вне храма и церкви: в пионерах, комсомолах, партии. Но душа помнила, хранила и отворила память в час нужный.

С последними словами молитвы отступило страшное. Он понял, что это был просто тяжелый сон.

Это был просто вечер долгого, смутной тревогой наполненного дня. Но теперь после отдыха ли, молитвы по-иному, трезвее все понималось.

Не воздаянья, не сочувствия он искал, но за детвору страшился.

И не надо тревожить их, особенно малых. Может быть, когда повзрос-

леют, узнают, поймут. А может, не успеют понять: Дед прежде умрет. Так даже лучше...

Потому что это невозможно понять. «Помню, как жили мы...» Теплое лето, сад, огород, коза Манька, собака Трезор.

И вдруг — темный подвал. Гул самолетов. Молитва матери. Страха еще не было. Даже какое-то мальчишеское любопытство: хотелось взглянуть, поглядеть.

Страх пришел с первой бомбой, с ее пронзительным свистом, с дьявольским воем самолетных сирен, которые все ближе и ближе, с первым ударом, сотрясающим землю. Потом все слилось в оглушающий, непрерывный грохот и вой, раскалывающий голову, давящий, не дающий вздохнуть.

А потом — забвенье. Земля. Трескучее пламя — рядом. Горький горячий воздух. Поскуливание собаки. Теплое тело ее, словно материнское, кров и спасенье. И тот же оглушающий дьявольский свист и вой, теперь уже совсем рядом. И за взрывом — взрыв. Все ближе и ближе тяжелое сотрясенье. Осколки ли, комья земли — градом. За разом — раз.

В багровой полутьме горевшего города самолеты искали его. Именно его. С воем снижались, неслись в пике, чтобы точнее бросить бомбу, убить и смешать с землей окаменевшего от боли и страха, но еще живого мальчонку.

Так было.

Недалеко от дома нынешнего, на набережной Волги, стоит памятник, который дед стороной обходит.

Огромная авиабомба повисла в метре от земли; в ощеренной хищной пасти и уже во чреве ее — детвора. Их четверо ли, пятеро за мгновенье до гибели. Вскинутые в попытке защиты тонкие руки девочки. Рядом — малыш просто закрыл лицо ладошками. За мгновенье до взрыва и смерти.

Их четверо ли, пятеро изваянных в камне под бомбой, которая просто памятник.

Сорок тысяч... Детей, женщин, стариков погибли в первый же день налета от бомб фугасных, осколочных, зажигательных. А может, больше? Кто их считал? Убитых на улицах, во дворах, порою в клочья растерзанных взрывами, заживо погребенных в земляных окопах да щелях, в развалинах многоэтажек и там же — в глухих, битком набитых подвалах. Кто их считал?.. Потом были еще два дня сплошной бомбежки. Сто тысяч настоящих бомб. И каждая нашла свою жертву: убивая, сжигая, хороня живьем.

А для тех, кто выжил, война продолжилась: дни и ночи, месяцы новых и новых бомбежек, обстрелов. Земляные норы и щели, подвалы домов разрушенных. Холодная тьма. Еда: горелое горькое зерно, которое добывали в развалинах элеватора. Под обстрелом, но пробирались, ползли, гибли. Вонючая падаль-махан: лошадиная, верблюжья, порой — собачья, кошачья. Скотьи шкуры из засолочных ям кожзавода; их надо палить, вымачивать, потом мелко резать и долго варить. Лакомство редкое — ржаной сухарь или кусок зачерствелого хлеба, которые нужно искать у мертвых, у погибших солдат, их много. Сначала они воняли и пухли. Потом — заоченели. Оскаленные зубы, когтистые пальцы, страшные выпученные глаза. Их быстро перестали бояться. Привыкли. Обшаривали. Хлеба кусок — спасенье.

А еще — вода, за которой нужно пробираться к Волге или к родни-

кам в оврагах. Тоже — под обстрелом. Жестокая зима. Уже в ноябре — мороз, двадцать пять градусов. Потом и вовсе — тридцать да сорок, с ледяным ветром. Горькие лепешки из вымоченной горчицы. Каша ли, суп из конских копыт.

Старики умирали тихо. Детвора разучилась плакать: не было сил. Опухшие ноги, волдыри да гнойные коросты по телу, на голове, а под коростами — вши.

Как рассказать об этом? И зачем нынешним детям это знать? Не сможет ни понять, ни принять такого страха и боли светлая детская душа. И слава Богу.

Он остался живым. «Живой в помощи...» Теперь он — Дед. Старый, седой, в шапке вечно нестриженных волос. Некогда стричься. Дела да дела...

Таким его пускай детвора и помнит: «Был у нас Дед...» Он сладкий виноград на даче растил. Для Миши — особый, без косточек, «киш-миш» называется. Другого Миша не ел. А Маня все подряд мела. Ранней клубникой детвору баловал и поздней удивлял, до самых морозов. Он утеплял ее, прикрывая. Ранняя розовая черешня и поздняя — желтая, словно медовая. Такая же слива, но крупная, полная сока. И, конечно, яблоки, их на всю зиму хватало. Малина, смородина... Свежие, в холодильнике, в «заморозке». Сушеные травы: душица, чабрец, зверобой — от всех болезней. Шиповник, боярышник... Все есть у Деда.

Дед умел делать домашнюю, очень вкусную колбасу. Говорил, что долго ее делать, трудно. Но делал, особенно если Маняша просила: «Койбаски, дедушка...»

Дед варил варенье, готовил яблочный сок на зиму, в больших трехлитровых банках. С Дедом было интересно играть в прятки. Весело. И, конечно, шумный «турсун», о котором знали даже соседи.

Таким пусть и помнят Деда. Пока не забудут с прошеством лет. Но потом еще раз вспомнят, когда им исполнится семнадцать лет. Сначала — Мише, а потом Мане. И тогда, на первый их юбилей, каждому откроют их именные пятилитровые дубовые бочонки с выдержанным коньяком. Дед еще в прошлом году залил их, собственной выгонки из виноградного белого вина. Все, как положено, по технологии. Работа непростая. Но сделал. Запечатал и поставил в подвал, для долгой выдержки. Один бочонок — для Миши, другой — для Мани. И, конечно, для всех родных и гостей, которые придут их поздравлять. И тогда снова Деда вспомнят, который додумался: «Был у нас Дед...»

Сын обычно вздыхает, порой посмеивается: «Дед, чего ты себя мучаешь? Надо, я куплю тебе этого коньяку...»

Так же и с колбасой: «Чего ты себя мучаешь?..»

Ведь и правда, все дается непросто. Та же колбаса. Выбирай хорошее мясо на рынке: говядина да свинина. Обычно пять килограммов он берет. Потом фарш готовит, перегоняя мясо на мясорубке, промешивая и добавляя специи. Кишочки готовые есть. Начиняй колбаску, давай выдержку, потом отваривай, повешивай на балконе для просушки. И только потом идет про жарка в духовом шкафу.

Конечно, много работы. Если не отрываться, то двенадцать часов. В шесть утра начинаешь, в шесть вечера закончил. Детвора эту «койбаску» любит. Даже разборчивый Миша. И сын любит. На завтрак обычно поджаривает. А ведь ворчит: зачем да зачем...

Ворчит или подсмеивается: «Ищешь ты, Дед, себе колготу». Сына

послушать, так и дачу пора бросать. А уж про хутор Плесистов и вовсе: «Ты чего, Дед, придумываешь? Какой еще тебе хутор?»

«А вот такой...» — сыну ли, себе ответил Дед и словно увидел малый хуторок Плесистов — целое поместье, которое он приглядел: два гектара земли возле озера, рядом — лес. Для детворы — лучше не придумаешь. Все лето на вольном воздухе. Маняша купаться любит, и Миша приучится. Для него это нужно: закаливание, кваситься зимой не будет.

Плесистов никак нельзя упускать. Там будет сад, виноградник, огород и даже бахча, с арбузами, дынями. Озеро, лодка, Миша будет рыбачить. Забава детворе. И сын когда-то рыбачить любил.

Золотое место — хутор Плесистов. Сначала вагончик какой-нибудь, чтобы ночевать, а не мыкаться туда-сюда. Работы, особенно на первых порах, много. А уж потом дом надо ставить. Но это уже... без него. Поставят дом, будут жить. Может, тогда и вспомнят. Скажут: «Был у нас Дед... Живые помощи...»